



*ВОЛНЫ*

---



*СОЛНЦЕ* еще не встало. Море было не отличить от неба, только море лежало все в легких складках, как мятый холст. Но вот небо побледнело, темной чертой прорезался горизонт, отрезал небо от моря, серый холст покрылся густыми мазками, штрихами, и они побежали, вскачь, впуски, внахлест, взахлеб.

У самого берега штрихи дыбились, взбухали, разбивались и белым кружесом укрывали песок. Волна подождет-подождет, и снова она отпрянет, вздохнув, как спящий, не замечающий ни вдохов своих, ни выдохов. Темная полоса на горизонте постепенно ясна, будто выпадал осадок в старой бутылке вина, оставляя зеленым стекло. Потом прояснело все небо, будто тот белый осадок наконец опустился на дно, или, может быть, это кто-то поднял лампу, спрятавшись за горизонтом, и пустил над ним веером плоские полосы, белые, желтые и зеленые. Потом лампу подняли выше, и воздух стал рыхлым, из зеленого выпростались красные, желтые перья и замерцали, вспыхивая, как клубы дыма над костром. Но вот огненные перья слились в одно сплошное марево, одно белое каление, кипень, и он сдвинул, поднял тяжелое, шерстисто-серое небо и обратил миллионами атомов легчайшей сини. Понемногу стало прозрачным и море, оно лежало, зыбилось, посверкивало, подрагивало, пока не потряхнуло все почти полосы темноты. А державшая лампу рука поднималась все выше, все выше, и вот уже стало видно широкое пламя; над горизонтом занялась огненная дуга, и вспыхнуло золотом все море вокруг.

*Свет охлестнул деревья в саду, вот один листок стал прозрачным, другой, третий. Где-то в вышине чирикнула птица; и все стихло; потом, пониже, пискнула другая. Солнце сделало резче стены дома, веерным краем легло на белую штору, и под лист у окошка спальни оно бросило синюю тень — как отпечаток чернильного пальца. Штора легонько колыхалась, но внутри, за нею, все было еще неопределенно и смутно. Снаружи без роздыха пели птицы.*

— Я вижу кольцо, — Бернад говорил. — Оно висит надо мной. Дрожит и висит такой петлей света.

— Я вижу, — Сьюзен говорила, — как желтый жидкий мазок растекается, растекается, и он убегает вдаль, пока не наткнется на красную полосу.

— Я слышу, — Рода говорила, — звук: чик-чирик; чик-чирик; вверх-вниз.

— Я вижу шар, — Невил говорил, — он каплей повис на огромном боку горы.

— Я вижу красную кисть, — Джинни говорила, — и она перевита вся золотыми такими ниточками.

— Я слышу, — Луис говорил, — как кто-то топает. Огромный зверь прикован за ногу цепью. И топает, топает, топает.

— Смотрите — там, на балконе, в углу паутина, — Бернад говорил. — И на ней водяные бусины, капли белого света.

— Листы собрались под окном и наострили ушки, — Сьюзен говорила.

— Тень оперлась на траву, — Луис говорил, — согнутым локтем.

— Острова света плывут по траве, — Рода говорила. — Они упали с деревьев.

— Глаза птиц горят в темноте между листьев, — Невил говорил.

— Стебли поросли жесткими такими короткими волосками, — Джинни говорила, — и в них позастряли росинки.

— Гусеница свернулась зеленым кольцом, — Сьюзен говорила, — вся-вся в тупых ножках.

— Улитка перетаскивает через дорогу свой серый тяжелый панцирь и приминает былинки, — Рода говорила.

— А окна то загорятся, то гаснут в траве, — Луис говорил.

— Камни мне холодят ноги, — Невил говорил. — Я каждый чувствую: круглый, острый, — отдельно.

— У меня все руки горят, — Джинни говорила, — ладошки только липкие и мокрые от росы.

— Вот крикнул петух, будто красная, тугая струя вспыхнула в белом приплеске, — Бернард говорил.

— Птицы поют, — вверх-вниз, туда-сюда, повсюду, везде качается гомон, — Сьюзен говорила.

— Зверь все топают; слон прикован за ногу цепью; на берегу топают страшный зверь, — Луис говорил.

— Гляньте на наш дом, — Джинни говорила, — какие белые-белые от штор у него все окошки.

— Уже закапала холодная вода из кухонного крана, — Рода говорила, — в таз, на макрель.

— Стены пошли золотыми трещинами, — Бернард говорил, — и тени листьев легли синими пальцами на окно.

— Миссис Констабл сейчас натягивает свои толстые черные чулки, — Сьюзен говорила.

— Когда поднимается дым, это значит: сон кучерявится туманом над крышей, — Луис говорил.

— Птицы раньше пели хором, — Рода говорила. — А теперь отворилась кухонная дверь. И они сразу прыгнули прочь. Будто кто горстку зерен швырнул. Только одна поет и поет под окном спальни.

— Пузыри зарождаются на дне кастрюли, — Джинни говорила. — А потом они поднимаются, быстрее, быстрее, такой серебряной цепью под самую крышку.

— А Бидди соскребает рыбки чешуйки на деревянную доску шербатым ножом, — Невил говорил.

— Окно столовой стало теперь темно-синее, — Бернارد говорил. — И воздух трясется над трубами.

— Ласточка пристроилась на громоотводе, — Сьюзен говорила. — И Бидди плюхнул на кухонные плиты ведро.

— Вот удар первого колокола, — Луис говорил. — А за ним и другие вступили; бим-бом; бим-бом.

— Смотрите, как бежит по столу скатерть, — Рода говорила. — Сама белая, и на ней кругами белый фарфор, и серебряные черточки возле каждой тарелки.

— Что это? Пчела жужжит у меня над ухом, — Невил говорил. — Вот она, здесь; вот она улетела.

— Я вся горю, я трясусь от холода, — Джинни говорила. — То это солнце, то эта тень.

— Вот они все и ушли, — Луис говорил. — Я один. Все пошли в дом завтракать, а я один, у забора, среди этих цветов. Еще самая рань, до уроков. Цветок за цветком вспыхивает в зеленой тьме. Листва пляшет, как арлекин, и прыгают лепестки. Стебли тянутся из черных пучин. Цветы плывут по темным, зеленым волнам, как рыбы, сотканые из света. Я держу в руке стебель. Я — этот стебель. Я пускаю корни в самую глубину мира, сквозь кирпично-сухую, сквозь мокрую землю, по жилам из серебра и свинца. Я весь волокнистый. От малейшей зыби меня трясет, земля мне тяжело давит на ребра. Здесь, наверху, мои глаза — зеленые листья, и они ничего не видят. Я мальчик в костюме из серой фланели, с медной застежкой-змейкой на брючном ремне. Там, в глубине, мои глаза — глаза каменного изваяния в нильской пустыне, лишенные век. Я вижу, как женщины бредут с красными кувшинами к Нилу, вижу раскачку верблюдов, мужчин в тюбанах. Слышу топот, шорох, шелест вокруг.

Здесь Бернارد, Невил, Джинни и Сьюзен (но только не Рода) запускают рампетки в цветочные клумбы. Сбривают рампетками бабочек с еще сонных цветов. Прочесывают поверхность мира. Трепет крылышек надрывает сачки. Они кричат: «Луис! Луис!», но они меня не видят.

Я спрятан за изгородью. Тут только крошечные просветы в листве. О Господи, пусть они пройдут мимо. О Господи, пусть вывалят своих бабочек на носовой платок на дороге. Пусть пересчитывают своих адмиралов, капустниц и махаонов. Только бы меня не увидели. Я зеленый, как тис, в тени этой изгороди. Волосы — из листвы. Корни — в центре земли. Тело — стебель. Я сжимаю стебель. Капля выдавливается из жерла, медленно наливается, набухает, растет. Вот розовое что-то мелькает мимо. Между листьям зашкальзывает быстрый взгляд. Меня опалает лучом. Я мальчик во фланелевом сером костюме. Она меня нашла. Что-то ударило меня в затылок. Она поцеловала меня. И опрокинулось все.

— После завтрака, — Джинни говорила, — я припустила бегом. Вдруг вижу: листья на изгороди шевелятся. Подумала — птичка сидит на гнезде. Расправила ветки и заглянула; смотрю — птички нет никакой. А листья все шевелятся. Я испугалась. Бегу мимо Сьюзен, мимо Роды и Невилы с Бернардом, они разговаривали в сарае. Сама плачу, а бегу и бегу, все быстрее. Отчего так прыгали листья? Отчего так прыгает у меня сердце и никак не уймется ноги? И я кинулась сюда и вижу — ты стоишь, зеленый, как куст, стоишь тихо-тихо, Луис, и у тебя застыли глаза. Я подумала: «Вдруг он умер?» — и я тебя поцеловала, и сердце под розовым платьем колотилось у меня, и дрожало, как листья дрожали, хоть они-то непонятно теперь — отчего. И вот я нюхаю герань; нюхаю землю в саду. Я танцую. Струюсь. Меня накинуло на тебя, как сеть, как сачок из света. Я струюсь, и дрожит накинутый на тебя сачок.

— Через шелку в листве, — Сьюзен говорила, — я увидела: она его целовала. Я подняла голову от моей герани и глянула через шелку в листве. Она его целовала. Они целовались — Джинни и Луис. Я стисну свою тоску. Зажму в носовом платке. Скручу в комок. Пойду до уроков в буктовую рошу, одна. Не хочу я сидеть за столом, складывать числа. Не хочу я сидеть рядом с Джинни, рядом



с Луисом. Я положу свою тоску у корней бука. Буду ее перебирать, теревить. Никто меня не найдет. Буду питаться орехами, высматривать яйца в куманике, волосы станут грязные, я буду спать под кустом, воду пить из канавы, так и умру.

— Сьюзен прошла мимо нас, — Бернارد говорил. — Шла мимо двери сарая и тискала носовой платок. Она не плакала, но глаза, они ведь у нее такие красивые, сузились, как у кошки, когда та собирается прыгнуть. Я пойду за ней, Невил. Тихонько пойду за ней, чтоб быть под рукой и утешить, когда она зайдется, расплачется и подумает: «Я одна».

Вот она идет через луг, с виду как ни в чем не бывало, хочет нас обмануть. Доходит до склона; думает, теперь никто ее не увидит. И припускает бегом, зажав кулаками грудь. Тискает этот свой платок-узелок. Взяла в сторону буковой рощи, прочь от утреннего блеска. Вот дошла, расправляет руки — сейчас поплывет по тени. Но со свету ничего не видит, спотыкается о корни, падает под деревья, где как будто выдохся и задыхается свет. Ветки ходят — вверх-вниз. Лес волнуется, ждет. Мрак. Свет дрожит. Страшно. Жутко. Корни лежат на земле, как скелет, и по суставам навалены прелые листья. Здесь-то Сьюзен и расстелила свою тоску. Платок лежит на корнях бука, а она съежилась там, где упала, и плачет.

— Я видела: она целовала его, — Сьюзен говорила. — Посмотрела сквозь листья и увидела. Она плясала и переливалась алмазами, легкая, как пыль. А я толстая, Бернارد, я маленького роста. Глаза у меня близко к земле, я различаю каждого жучка, каждую былинку. Золотая теплота у меня в боку закаменела, когда я увидела: Джинни целует Луиса. Вот буду питаться травой и умру в грязной канаве, где гниют прошлогодние листья.

— Я видел тебя, — Бернارد говорил, — ты шла мимо двери сарая, я слышал, ты плакала: «Несчастливая я». И я отложил свой ножик. Мы с Невилом вырезали из дров

кораблики. А волосы у меня лохматые потому, что миссис Констабл велела мне причесаться, а я увидел в паутине муху и думал: «Надо освободить муху? Или оставить ее на съедение пауку?» Потому-то я вечно опаздываю. Волосы у меня лохматые, и вдобавок в них щепки. Я слышу — ты плачешь, и я пошел за тобой, и увидел, как ты положила платок, и в нем стиснута вся твоя ненависть, вся обида. Ничего, скоро все пройдет. Вот мы теперь совсем близко, мы рядом. Ты слышишь, как я дышу. Ты видишь, как жук уволакивает лист на спине. Мечется, не может выбрать дороги; и пока ты следишь за жуком, твое желание обладать одной-единственной вещью на свете (сейчас это Луис) поколеблется, как качается свет между буковых листьев; и слова темно перекачатся на глубине у тебя в душе и прорвут жесткий узел, которым ты стиснула свой платок.

— Я люблю, — Сьюзен говорила, — и я ненавижу. Я хочу только одного. У меня такой твердый взгляд. У Джинни глаза растекаются тысячами огней. Глаза Роды — как те бледные цветы, на которые вечером опускаются бабочки. У тебя глаза — полные до краев, и они никогда не прольются. Я зато уже знаю, чего хочу. Я вижу букашек в траве. Мама еще вяжет мне белые носочки и подрубают переднички, — я же маленькая, — но я люблю; и я ненавижу.

— Но когда мы сидим рядом, так близко, — Бернارد говорил, — мои фразы текут сквозь тебя, и я таю в твоих. Мы укрыты в тумане. На зыбучей земле.

— Вот жук, — Сьюзен говорила. — Он черный, я вижу, я вижу — он зеленый. Я связана простыми словами. А ты куда-то уходишь; ты ускользаешь. Ты взбираешься выше, все выше на слова и фразы из слов.

— А теперь, — Бернارد говорил, — давай разведем местность. Вот белый дом, он раскинулся среди деревьев. Он глубоко под нами. Мы нырнем, поплывем, чуть-чуть проверяя ногами дно. Мы нырнем сквозь зеленый свет листьев, Сьюзен. Нырнем на бегу. Над нами смыкаются

волны, листья буков схлестываются над нашими головами. Часы на конюшне пылают золотом стрелок. А вот и кровля господского дома: скаты, стрехи, щипцы. Конюх шлепает по двору в резиновых сапогах. Это Элведон.

Мы свалились между веток на землю. Воздух уже не катит над нами свои долгие, бедные, лиловые волны. Мы идем по земле. Вот чуть не наголо стриженная изгородь хозяйского сада. За нею хозяйки, леди. Они прогуливаются в полдень, с ножницами, срезают розы. Мы вошли в лес, огороженный высоким забором. Элведон. По перекресткам стоят указатели, и стрелка показывает «На Элведон», я видел. Сюда еще не ступала ничья нога. Какой яркий запах у этих папоротников, а под ними спрятались красные грибы. Мы спугнули спящих галок, они в жизни людей не видывали; мы идем по чернильным орешкам, от старости красным, скользким. Лес окружен высоким забором; никто не ходит сюда. Ты послушай! Это плюхается в подлеске гигантская жаба; это первобытные шишки шуршат и падают гнить под папоротниками.

Поставь-ка ногу на этот кирпич. Глянь за забор. Это Элведон. Леди сидит между двух высоких окон и пишет. Садовники метут лужок огромными метлами. Мы пришли сюда первые. Мы открыватели новых земель. Замри; увидят садовники — мигом застрелят. Распнут гвоздями, как горностаев, на двери конюшни. Осторожно! Не шевелись. Покрепче ухвати папоротник на изгороди.

— Я вижу: там леди пишет. Вижу — садовники метут лужок, — Сьюзен говорила. — Если мы тут умрем, никто нас не похоронит.

— Бежим! — Бернارد говорил. — Бежим! Садовник с черной бородой нас заметил! Теперь нас застрелят! Застрелят, как соек, и приколотят к забору! Мы в стане врагов. Надо скрыться в лесу. Спрятаться за стволами буков. Я надломил ветку, когда мы сюда шли. Тут тайная тропа. Наклонись низко-низко. Следуй за мною и не оглядывайся. Они подумают, что мы лисы. Бежим!

Ну вот, мы спасены. Можно выпрямиться. Можно протянуть руки, потрогать высокий полог в огромном лесу. Я ничего не слышу. Только говор далеких волн. И еще лесной голубь прорывается сквозь крону бука. Голубь бьет по воздуху крыльями; голубь взбивает лесными крыльями воздух.

— Ты куда-то уходишь, — Сьюзен говорила, — сочинишь свои фразы. Поднимаешься, как стропы воздушного шара, выше, выше, сквозь слои листьев, ты мне не даешься. Вот задержался. Дергаешь меня за платье, оглядываешься, сочинишь фразы. Тебя нет со мною. Вот сад. Изгородь. Рода на дорожке качает в темном тазу цветочные лепестки.

— Белые-белые — все мои корабли, — Рода говорила. — Не нужны мне красные лепестки штокроз и герани. Пусть белые плавают, когда я качаю таз. От берега к берегу плывет моя армада. Брошу щепку — плот для тонущего матроса. Брошу камушек — и со дна морского поднимутся пузыри. Невил ушел куда-то, и Сьюзен ушла; Джинни на огороде собирает смородину, наверно, с Луисом. Можно немножко побыть одной, пока мисс Хадсон раскладывает на школьном столе учебники. Немножко побыть на свободе. Я собрала все опавшие лепестки и пустила вплавь. На некоторых поплывут дождевые капли. Здесь я поставлю маяк — веточку бересклета. И буду туда-сюда раскачивать темный таз, чтобы мои корабли одолевали волны. Одни утонут. Другие разобьются о скалы. Останется только один. Мой корабль. Он плывет к льдистым пещерам, где лает белый медведь и зеленой цепью висят сталактиты. Вздываются волны; пенятся буруны; где же огни на топ-мачтах? Все рассыпались, все потонули, все, кроме моего корабля, а он рассекает волны, он уходит от штурма и несется на дальнюю землю, где попугаи болтают, где вьются лианы...

— Где этот Бернارد? — Невил говорил. — Ушел и мой ножик унес. Мы были в сарае, вырезали кораблики,

и Сьюзен прошла мимо двери. И Бернард бросил свой кораблик, пошел за ней, и мой ножик прихватил, а он такой острый, им режут киль. Бернард — как проволока болтающаяся, как сорванный дверной колокольчик, — звенит и звенит. Как водоросль, вывешенная за окно, — то она мокрая, то сухая. Подводит меня; бежит за Сьюзен; Сьюзен заплачет, а он вытащит мой ножик и станет ей рассказывать истории. Вот это большое лезвие — император; поломанное лезвие — негр. Терпеть не могу все болтающееся; ненавижу все мокрое. Ненавижу путаницу и неразбериху. Ну вот, звонок, мы теперь опоздаем. Надо бросить игрушки. И всем вместе войти в класс. Учебники разложены рядышком на зеленом сукне.

— Не буду я спрягать этот глагол, — Луис говорил, — пока Бернард его не проспрягает. Мой отец брисбенский банкир, я говорю с австралийским акцентом. Лучше я подожду, сперва послушаю Бернарда. Он англичанин. Все они англичане. У Сьюзен отец священник. У Роды отца нет. Бернард и Невил оба из хороших семей. Джинни живет у бабушки в Лондоне. Вот — все грызут карандаши. Теряют тетрадки, косятся на мисс Хадсон, считают пуговицы у нее на блузке. У Бернарда в волосах щепка. У Сьюзен заплаканный вид. Оба красные. А я бледный; я аккуратный, мои бриджи стянуты поясом с медной змеевидной застежкой. Я знаю урок наизусть. Им всем в жизни столько не знать, сколько знаю я. Я знаю все падежи и виды; я все на свете узнал бы, только бы захотел. Но я не хочу у всех на виду отвечать урок. Корни мои ветвятся, как волокна в цветочном горшке, ветвятся и опутывают весь мир. Не хочу я быть у всех на виду, в лучах этих громадных часов, они такие желтые и тикают, тикают. Джинни и Сьюзен, Бернард и Невил сплетаются в плетть, чтоб меня охлестнуть. Смеются над моей аккуратностью, над моим австралийским акцентом. Попробую-ка я, как Бернард, нежно ворковать на латыни.

— Это белые слова, — Сьюзен говорила, — как камешки, которые собираешь на пляже.

— Они вертят хвостиками, ударяют направо-налево, — Бернард говорил. — Крутят хвостиками; бьют хвостиками; стаей взмывают в воздух, поворачивают, слетаются, разлетаются, соединяются снова.

— Ах, какие желтые слова, слова как огонь, — Джинни говорила. — Мне бы платье такое, желтое, огнистое, чтоб вечером надевать.

— Каждое время глагола, — Невил говорил, — имеет свой, особенный смысл. В мире есть порядок; есть различия, есть деления в том мире, на грани которого я стою. И все у меня впереди.

— Ну вот, — Рода говорила, — мисс Хадсон захлопнула учебник. Сейчас начнется ужас. Вот — взяла мел, чертит свои цифры, шесть, семь, восемь, а потом крестик, потом две черточки на доске. Какой ответ? Они все смотрят; смотрят и понимают. Луис пишет, Сьюзен пишет, Невил пишет, Джинни пишет; даже Бернард — и тот начал писать. А мне нечего писать. Я просто вижу цифры. Все сдают ответы, один за другим. Теперь моя очередь. Но нет у меня никакого ответа. Их всех отпустили. Хлопают дверью. Мисс Хадсон ушла. Я осталась одна — искать ответ. Цифры теперь совсем ничего не значат. Смысл ушел. Тикают часы. Стрелки караваном тянутся по пустыне. Черные черточки на циферблате — это оазисы. Длинная стрелка выступила вперед на разведку воды. Короткая спотыкается, бедная, о горячие камни пустыни. Ей в пустыне и умирать. Хлопает кухонная дверь. Лают вдали беспризорные псы. Вот ведь как петля этой цифры набухает, вздувается временем, превращается в круг; и держит в себе весь мир. Пока я выписываю цифру, мир западает в этот круг, а я остаюсь в стороне; вот я свожу, смыкаю концы, стягиваю, закрепляю. Мир закруглен, закончен, а я остаюсь в стороне и кричу. «Ох! Помогите, спасите, меня выбросило из круга времени!»

— Там Рода сидит, уставилась на доску в классной, — Луис говорил, — пока мы разбредаемся прочь, обрываем